



**ПЁТР БРАНДТ**

### **ВАНЬКА**

*Автобиографический рассказ*

Я родился 30 октября 1947 года в городе Пскове, в семье, попавшей в этот город сразу же после войны. Мой отец Лев Владимирович Брандт был писателем, с очень трудной, по-человечески неудачной судьбой, но, по моему мнению, — с судьбой, вполне удавшейся творчески. Несмотря на тяжелейшие перипетии его жизни (по меткому выражению его супруги, моей матери, «война да тюрьма») он в полной мере состоялся творчески, написав несколько повестей и рассказов о животных, — такого уровня, что они сами по себе, без особого нажима с чьей-либо стороны вошли в русскую литературу наряду с произведениями самых именитых коллег. Многие видели фильм «Браслет-2», поставленный по его повести о беговой лошади, и фильм «Остров Серафимы» по его рассказу о лебедях.

Сам он происходил из белорусской семьи, хотя отец его был обрусевшим немцем. Впрочем, наше семейное предание не сохранило никаких сведений об этом человеке. По рассказам моей матери знаю, что вроде бы он был не простого происхождения, но более ничего мне о нём не известно. Бабушка же моя по этой линии, по рассказам, была женщиной видной и сильной, но происходила из простолюдинов. Мой отец рано оставил родной дом, скитался по фронтам Гражданской войны; в конце концов попал в Ленинград, где сначала окончил юридический факультет нашего университета, а потом режиссёрское отделение Ленинградского театрального института, который в то время назывался ещё театральным техникумом. Он учился в одно время с Черкасовым, Чирковым, Зарубиной — словом, с тем поколением актёров, которое мы называем «старым Пушкинским театром» и «театром комедии Н. П. Акимова».

По окончании этого учебного заведения он некоторое время работал у Вивьена в Пушкинском театре, однако режиссёр из него не получился, и он занялся сочинительством — сначала коротких пьес и скетчей, а потом повестей и рассказов, в том числе о животных, где его талант и раскрылся с неожиданной мощью.

Впрочем, литературная карьера его была остановлена арестом по 58-й статье в 1937 году. Вероятно, чудом, будучи арестован в это время, он избежал расстрела и отделался ссылкой, после которой попал на фронт Вели-

кой Отечественной войны, где был контужен (и таким образом спасся ещё раз).

После войны жил во Пскове и продолжал писать. В 1949 году заболел раком желудка. Умер мой отец в сентябре 1949 года в Ленинграде, мне тогда было два года.

Моя мать Тамара Фёдоровна Эндер тоже происходила из семьи обрусевших немцев по отцовской линии. Мать же её, моя бабушка, была еврейка, крещённая в православие, как, впрочем, и мой дед-немец и вся их семья. Так что мать моя была крещена дважды: лютеранским крещением (в котором имела три имени: Тамара, Фотинья и Елизавета) и православным, после которого от трёх её имен осталось одно — Тамара. Бабушка была статной, очень красивой женщиной; она рано умерла от скоротечной скарлатины. Моей матери в тот год было всего 17 лет. Отец же её, мой дед, был сыном саксонского немца Эрнеста Ивановича Эндера, известного в своё время учёного-ботаника, который имел массу научных трудов и занимал должность главного садовника Императорского ботанического сада.

У него было несколько детей, из которых один — мой дед Фридрих Фердинанд (в православном крещении — Фёдор), а другой — Владимир Карл Герман (в православном крещении — Владимир). Дядя Володя, как его звали в нашей семье, — отец известных художников из группы Матюшина: Бориса, Ксении и Марии Эндер. Так что они — мои двоюродные дядья и тётки.

Их родной брат Георгий, тоже первоначально художник, был отцом известного художника и коллекционера уже нашего времени Андрея Георгиевича Эндера, который, соответственно, приходится мне троюродным братом.

Тамара Фёдоровна, рано оставшаяся без матери, приехала из Одессы, где она родилась и где прошло её детство, в Ленинград и здесь поступила в театральный техникум (тот самый, где учился мой отец), на отделение ритмической хореографии. Это была школа пластического танца по так называемой системе Далькроза (хореография, близкая к манере знаменитой Айседоры Дункан).

Увы, специальность эта не имела будущего. Какое-то время моя мать работала на профессиональной сцене и даже танцевала в ансамбле Обранта, но в определённый момент руководство решило, что нам достаточно классической традиции в балете, то есть вагановской школы, и всё остальное было объявлено вредным; после этого моя мать вынуждена была навсегда уйти в самодеятельность.

Однако по натуре она была человеком жизнелюбивым, деятельным и творческим и здесь, в самодеятельности, смогла состояться и жить полной творческой жизнью. Все области хореографии так или иначе входили в сферу её интересов. У неё были детские коллективы, где она ставила почти классические балеты, такие как «Снежная королева» и «Снегурочка». Для последнего костюмы шили в мастерских Кировского театра.

Были у неё коллективы народных и характерных танцев, которые она очень любила. Она преподавала и балльные танцы, а ещё очень много времени и сил отдала дошкольной работе — в детских яслях, где вела музыкальные занятия с детьми и организовывала для них детские праздники. Имея такую нагрузку, моя мать зарабатывала всегда достаточно много. Впрочем, заработанные деньги любила тратить и расставалась с ними очень легко.

При нерегулярных заработках нашего отца именно на ней в основном держался наш дом материально. И хоть жили мы нелегко, атмосфера в семье всегда была весёлой и дружной.

После смерти отца нам удалось перебраться из Пскова в Ленинград, где мы поселились в четырнадцатиметровой комнате на углу улицы Гоголя (ныне Малой Морской) и Кирпичного переулка и жили в ней втроём: моя мать, мой старший брат и я.

Последствия XX съезда КПСС, изменившие ход истории нашей страны, внесли благие перемены и в наш дом. Последовала реабилитация моего отца, матери удалось получить вторую комнату, добиться переизданий отцовских книг и таким образом значительно поправить наши жилищные и материальные условия. Именно в то время я попытался начать что-то самостоятельно писать. Это были какие-то детские стихи; такое стремление встретило, разумеется, самый живой и горячий отклик со стороны моей матери и всячески ею поддерживалось.

Но, увы, в то время этому моему стремлению не суждено было развиваться. Хотя именно в школьном возрасте я частенько захаживал в клуб «Дерзание» Дворца пионеров, где увидел тех самых людей, с которыми мне суждено было встретиться много позже, в совсем другой обстановке.

Дело в том, что отрочество моё совпало с небывалым взлётом точных наук в мире вообще и в нашей стране в особенности.

Начало 1960-х — это время космических полётов, робототехники, развития ядерной физики, романтического культа самой профессии физика (вспомним фильм того времени «9 дней одного года») и т. д. Всё это задало определённую моду в среде моих сверстников, и соответственно — сферу деятельности, в которой в то время сосредотачивалась элита общества.

Именно тогда стали организовываться школы с различным профессиональным уклоном. До восьмого класса включительно все школы были одинаковыми, а в девятом и выпускном десятом они имели различную профессиональную ориентацию.

В числе прочих появились школы с физико-математическим уклоном, куда, понятное дело, и ринулись наиболее развитые и способные мои сверстники.

Думаю, что не столько сама математика, сколько именно желание принадлежать к самой способной части моих ровесников потянуло меня тогда в эту сторону и надолго определило мои профессиональные устремления. Сначала физико-математическая школа, потом математико-механический факультет Ленинградского университета — вот этапы моей жизни в последующие годы.

Не знаю, сколько бы это тянулось, не столкнусь я в конце 1960-х годов с «уличной поэзией», как я её называл, или «культурой противостояния», как, наверное, правильнее было бы сказать. Это были поэты, которых я встретил тогда в «Сайгоне» (небольшом кафе на углу Владимирского и Невского) и на Малой Садовой. Многие из них были мне знакомы по клубу «Дерзание» при Дворце пионеров. Но теперь эти люди предстали мне в совсем другом свете. Если тогда, в начале 60-х, такой вольнодумный клуб при вполне официальном учреждении выглядел естественным обрамлением хрущёвской оттепели, то теперь я столкнулся с чем-то совсем иным. Хрущёвская оттепель давно уже к тому времени минула, уступив место брежневскому «закручиванию гаек». Народ этот не состоял уже более при каком-либо государственно организованном молодёжном творческом союзе, а существовал свободно, бросая самим своим существованием вызов обществу, где всё было идеологизировано, организовано и учтено. Но дело здесь было не в политическом противостоянии.

Много позже, внимательно изучая библейскую историю и историю раннего христианства, я понял, каким тяжёлым грехом в очах Божьих являлся грех коллективного идолопоклонничества и сколь велик перед Богом был подвиг тех людей — как ветхозаветной истории, так и первых веков христианства, — которые этому идолопоклонничеству противостояли.

Всего этого я ещё не знал тогда — вернее, знал что-то, но очень расплывчато. Но я с самого начала чувствовал в этом явлении «уличной культуры» какую-то нечеловеческую мощь и смысл, простиравшийся далеко за пределы обычного политического противостояния.

Разумеется, я не сравниваю нас с христианскими мучениками или библейскими пророками — гигантами веры и мужества, но, возможно, наша сердечная радость тогда — очень отдалённо, конечно, — переключалась с той радостью, которой удивляли всех первые христиане.

Люди, которых я там встретил, — это поэты: Николай Беляк (он же позднее режиссёр и руководитель Интерьерного театра), Виктор Ширали, Олег Охупкин, Борис Куприянов и Пётр Чегин, Евгений Вензель (являвшийся членом и другой компании с Малой Садовой, которая, впрочем, в полном составе бывала и в «Сайгоне»). Это Леонид Аронзон, Владимир Эрль, Евгений Звягин и другие.

Помню замечательного человека, поэта Славко Словенова, который всегда с удовольствием читал и слушал стихи. Помню Михаила Юппа. Кроме поэтов, в «Сайгоне» бывали художники, музыканты, актёры, студенты, деловые люди. Моим другом многие годы был режиссёр Эрик Грошевский — ярчайшая личность, собиравшая вокруг себя массу творческих людей. В его театральной студии я постоянно встречал, например, композитора Сергея Курёхина. Впоследствии Эрик и его жена, выпускница школы-студии МХАТа Алла Конт, возглавили Театр реального искусства.

Помню музыканта, исполнителя собственных песен Кита, трагически погибшего; помню замечательного человека и художника Игоря Лонского; помню режиссёров Петра Гулько и Бориса Цейтлина в окружении их

актёрских трупп. Помню иногда заходившего в «Сайгон» поэта Виктора Кривулина, поэта и режиссёра Михаила Богина, также трагически погибшего, и многих других. Особенным событием в судьбе моей поэзии была встреча с поэтом Константином Кузьминским. Но об этом позже.

Разумеется, первые мои стихи того времени были написаны под влиянием этих поэтов и несли на себе очевидный отпечаток тогдашней «уличной поэзии» — дерзость, шокирующую откровенность, ясно ощутимую отчуждённость от тогдашнего общества. Таковы, например, стихи из цикла «Воры», да и другие, в то время написанные.

Однако в недрах этой моей «уличной поэзии» почти сразу стала вызревать совсем другая — поэзия почти классическая, с чеканным, энергичным, чётко организованным слогом. Такими были первые стихи из будущей поэмы «Монголы», которые тогда назывались «Татарским циклом».

Под ханским копытом Шираз и Багдад,  
Ступив в города Халифата,  
Язычник услышал название «джихад»  
Священных боёв шариата.  
Коран не коснулся чела дикаря,  
Но имя войны подошло для коня.

На золоте сбриу рубиновый глаз  
Венчает убранство граната,  
А в самой вершине гранёный алмаз  
На сорок четыре карата.  
Оленьим ремнём перетянут крестец,  
Арабская кровь — вороной жеребец.

Меня поначалу такой слог отпугнул (тогда я стремился к совсем иному), однако потом я увидел, что именно эти стихи нравились тем, кому я их читал, и — мало-помалу — я сначала смирился с такой поэзией в себе, а потом стал считать именно её своим главным достижением.

Где-то в это время, на четвёртом году моего существования в образе поэта мне суждено было встретить Константина Константиновича Кузьминского.

Сразу скажу, что если бы такой человек мне не встретился, то я бы его вычислил.

Действительно, многие из моих знакомых, посетителей тогдашнего «Сайгона», могли бы подтвердить, что разговоры о том, что кто-то должен собрать всё написанное неофициальными авторами, и оформить это в виде антологии (я подчёркиваю: даже это слово употреблялось), велись задолго до того как поэт Кузьминский объявил о том, что именно этим он занимается.

То есть появление Кузьминского на этом поприще и его миссия были событием не случайным, а ожидаемым и востребованным. Именно этим, конечно, и объясняется последующий успех и известность его антологии, получившей название «У голубой лагуны».

Конечно, я тоже чувствовал благословение на этот труд и очень хотел в такую антологию попасть. Поэтому когда Кузьминский объявил мне о том, что хочет включить в своё собрание мои сочинения, я был этому очень рад и благодарен ему за это.

Как говорили в старину: «Бывают деяния от человекoв, а бывают от Бога». То, что «от человекoв», — это суета и не устоит во времени: то же, что от Бога, — Богом благословлено, таит в себе глубокие резоны и способно преодолевать время. С самого начала я чувствовал, что «Лагуна», как, впрочем, и «Газаневщина» (выставки независимых художников), — это два события, подводившие итог культуры сопротивления 1950–1970-х годов, и они были явлениями не случайными, но благословлёнными свыше.

Сам же Константин Константинович Кузьминский, при всём своём необычном и даже шокирующем виде (а он мог появиться где-нибудь в домашнем халате, с всклокоченными бородой и шевелюрой, с клюкой и большим крестом на груди), был человеком в труде очень усердным, аккуратным, а может быть, даже и педантичным. Не жалея ни себя, ни свою машинистку, он переделывал листок из своей антологии, если там обнаруживалась даже ничтожная помарка. К тому же он обладал феноменальной памятью и хранил в голове огромное количество никому не известных стихотворных текстов. Словом, трудно было бы найти для такого дела кандидатуру более подходящую, особенно если добавить к этому ещё одно обстоятельство.

Он никогда не был, по-моему, политиком от литературы, который создаёт в этом деле определённую иерархию имен и ревниво её удерживает. Нет, он просто искренне любил поэзию и если находил что-то, с его точки зрения, достойное, всегда готов был пойти наперекор общему мнению.

Кстати, именно Костя (а мы все его звали либо так, либо — Кока) Кузьминский открыл для меня Роальда Мандельштама, о котором в те времена все благополучно забыли. Он же указал мне на то, что в моём творчестве самое ценное — это именно те стихи, которые были написаны классическим чеканным слогом, в первую очередь поэма «Монголы».

Время создания «Лагуны» совпало с выставками независимых художников во дворцах культуры им. Газа и «Невском» — так называемой «Газаневщиной».

Это был яркий период в жизни независимой культуры города, период необыкновенного оживления, открывший и предо мной двери многих мастерских и салонов, о существовании которых прежде я и не подозревал.

Пожалуй, следует особым образом вспомнить мастерскую художника Андрея Геннадьева, более похожую на средневековый замок, — с рыцарскими доспехами, арбалетами, старинными кубками для вина и готическими стульями. Там почти каждую ночь собиралась какая-нибудь компания тогдашней богемы.

Причём рядом с завсегдаятами могли оказаться совсем случайные люди, которых Андрей принимал столь же искренне и просто, как и своих закадычных друзей. У него бывали в то время и мои знакомые по «Сайгону» —

поэты Олег Охупкин и Борис Куприянов; бывали многие художники и музыканты.

Сам Андрей Геннадьев в то время был красавцем двухметрового роста с романтической внешностью и, по словам моей матери, походил на молодого Черкасова. Человек он был открытый, щедрый, весёлый и добрый — и конечно, привлекал к себе окружающих.

Нельзя здесь не вспомнить ещё один дом, немало повлиявший на жизнь тогдашней творческой молодёжи города. Это дом Ольшанских, «открытый всем ветрам».

Братья Владимир и Юрий Ольшанские, артисты драмы, пантомимы и клоунады, музыканты и просто талантливые люди, и их мама Елена Ольшанская, тоже музыкант, жили открытым домом и собирали вокруг себя множество творческих и весёлых людей.

Их квартира — второй этаж особняка графа Орлова на Миллионной улице — сохранила элементы интерьера былых времён. Я помню, например, деревянную мавританскую арку ручной работы, делившую на две части огромный зал их квартиры, где не переводились гости. Через их дом прошло бесчисленное множество творческих натур тогдашнего Петербурга.

Вся моя юность так или иначе была связана с этим домом.

Всё это происходило здесь, в Петербурге. Я же большую часть времени тогда жил в Москве.

К этому времени мне удалось полностью расквитаться с моим «первым призванием» (я имею в виду математику), что само по себе было совсем не так просто. Я понял, что не буду заниматься математикой, когда учился на четвёртом курсе университета. Но уйти из университета я не мог. Это было бы ударом для моей матери, так много сделавшей для того, чтобы я получил высшее образование. И кроме того, за этим последовал бы немедленный призыв в армию, чего мне, без пяти минут офицеру запаса, тоже, разумеется, совсем не хотелось. Окончить же университет, математический факультет, когда ты уже не интересуешься этим предметом и не ходишь на лекции, — дело не из лёгких, можете поверить. Это было одним из самых тяжёлых испытаний в моей жизни.

Но к тому времени, о котором шла речь выше, мне удалось разделаться с университетом и отработать положенные полтора года по распределению, после чего я зачем-то уехал в Москву, где сначала пробовал себя в кино у режиссёров Игоря Димента и Владимира Аленикова, а потом мало-помалу стал просто жить жизнью «свободного художника», пробавляясь случайным заработком репетитора по математике.

Вот наконец сбылась моя мечта. Я стал жить свободной жизнью, о которой грезил много лет. Мне больше не надо было ни ходить на службу, где меня заставляли заниматься чем-то чуждым устремлениям моей души, ни, что ещё несноснее, думать о предстоящей сессии, которую надо пройти, не имея даже собственных конспектов.

Всё это миновало, и теперь я мог наслаждаться свободой и делать всё, что хотел.

За время жизни в Москве у меня появилось много новых друзей, в основном из мира искусства, которые помогали мне с жильём. Ясное дело, это были мансарды художников и дворницкие помещения студентов театральных вузов. Мне встретились замечательные люди, такие как: актёр и драматург впоследствии, а тогда студент ГИТИСа Виктор Яковлев; художник, лёгкий и весёлый человек Сергей Патрушев; известный впоследствии кинорежиссёр Сергей Скворцов и многие другие.

Однако на этом моём пути меня ожидали, увы, новые разочарования.

Прежде всего, год от года жизнь моя в Москве всё более и более усложнялась. Сложнее становилось искать уроки — единственный мой источник заработка. Да и с жильём в Москве было всё труднее и труднее. Я ведь жил без прописки и без постоянного места работы, а это в те годы было прямым нарушением закона. Так что статус мой, в случае столкновения с милицией, грозил мне годом лишения свободы.

Но самое главное — с каждым годом такой жизни мне труднее и труднее становилось писать стихи. То, ради чего я бросил свою профессию, поменял весь свой образ жизни, всё более и более ускользало от меня.

Тот самый энергичный чеканный слог, который так ярко звучал в «Монголах», стал явно изменять мне. Мне казалось, что во мне существует какое-то тяжёлое маховое колесо, которое способно, вращаясь, рождать такие звуки, но раскрутить его у меня нет никакой надежды. Таких сил во мне нет. Только иногда, собрав все силы, я могу лишь слегка повернуть его, но и это стало случаться всё реже и реже. Я понял, что тот образ жизни, от которого я с такой страстью бежал, образ жизни, который не пожелаешь и врагу: переступив через невероятные преграды, сдавать очень трудную сессию, притом что не заглядываешь в конспект в семестре, — этот самый образ жизни создавал во мне что-то, что позволяло этому маховику вращаться. А теперь, когда всё это ушло и я жил праздной, вольготной жизнью, маховик этот безнадежно стоял.

Мой дар, строго организованный и энергичный, явно не вписывался в мою натуру, тем более теперь, когда я стал жить богемной жизнью, которая мне казалась тогда самой подходящей для поэта.

Как будто бы дикого, горячего арабского жеребца предложили объездить человеку, который в трамвай-то садится только с передней площадки.

Я чувствовал, что дар мой медленно умирает во мне. Это повергало меня в уныние и смертельную тоску. Что с этим делать, откуда почерпнуть необходимые силы для реализации моего дара, я не знал.

В это время вера моя в Бога, до той поры жившая во мне весьма неопределённо, стала всё более и более укрепляться и выкристаллизовываться в конкретную веру в Христа в православной традиции.

Я, разумеется, обращался к Богу с просьбой указать мне выход из этой ситуации и дать мне необходимые силы. Но сил этих всё не было, и выхода тоже.

В конце 1970-х я вернулся в Ленинград, так как в Москве жить мне стало совсем трудно, да и смысла не было. Способность моя писать иссякала, а без этого терпеть там все трудности нелегальной жизни было незачем.

Здесь, в Ленинграде мне удалось устроиться сторожем на склад одного строительного управления.

Сторож и оператор газовой котельной — две традиционные и наиболее распространённые профессии поэтов «второй культуры»; действительно удобный заработок, оставлявший свободное время человеку на рабочем месте и при этом обеспечивавший ему минимальный достаток.

Список литераторов, работавших так, мог бы быть очень длинным. Это и Владимир Эрль, и Николай Беляк, и Елена Пудовкина, и Евгений Вензель, и Борис Останин, и Борис Дышленко, и многие другие.

Но в моём случае, увы, этот ход почти ничего не решал. Жить мне, конечно, стало легче, но дар мой по-прежнему бездействовал, и «маховое колесо», о котором я писал выше, оставалось без движения.

В это время я много читал святоотеческих христианских книг. И вот в книге Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты» я вычитал, что в ранних египетских монастырях обучение молитве новоначальных иноков всегда сопровождалось тяжёлой физической работой.

Именно эти работы позволяли человеку достигать высот в молитвенном труде, который сам по себе (и это я понимал) тяжелее самой каторжной работы. Я подумал тогда о том, что то, к чему я стремлюсь, возможно, сродни молитвенному труду. Не попробовать ли и мне, решил я, внести в свою жизнь физический труд.

Обстоятельства этому способствовали, так как работая сторожем, оформлен я был слесарем-ремонтником. Так что не пришлось даже переоформляться. Я просто начал работать в соответствии с записью в трудовой книжке.

Писать я к этому времени перестал вообще и решил во всём положиться на Бога. Если Богу будет угодно, решил я, он вернёт меня к стихотворчеству, если нет — значит, так тому и быть. Работа в ремонтной мастерской погрузила меня в совсем другую атмосферу жизни, во многом необычную для меня тогдашнего, и пробудила во мне какие-то новые силы жить. Передо мной открылся иной мир — мир стройки, который прежде представлялся мне чем-то грубым и недостойным моего внимания. Люди, которых я почти не замечал прежде, в большинстве своём предстали передо мной, весёлыми и сильными, справедливыми и щедрыми.

В 1981 году умерла моя мать Тамара Фёдоровна, и я почувствовал, что в моей жизни нужно что-то менять.

Прежде всего мне нужно было больше денег. В мастерских платили очень мало. Я обратился к нашему начальству с просьбой перевести меня

из мастерских в какую-нибудь бригаду для больших заработков. Меня направили в бригаду кровельщиков.

Я помню, как приехал в посёлок Коммунар (железнодорожная станция Антропшино). Это недалеко от Павловска, там тогда строили огромный картонажный комбинат — показательная молодёжная стройка, на которую согнали бригады из самых разных управлений города. Были даже «гастролёры» из других городов.

Это напоминало какой-то фестиваль. Вокруг строящегося здания огромного комбината дымились кровельные битумные котлы, работали бетономешалки, компрессоры и насосы и суетился весёлый народ — строители, в основном молодёжь. Немного поодаль располагался городок строительных бытовок.

Бригада, в которую я попал, оказалась молодёжной и была накануне развала. Бригадир не поладил с начальством. Мне объявили, что нас вот-вот распределят по другим бригадам и что сюда должны прислать бригаду кровельщиков Ивана Лебедева.

Об этой бригаде ходили разные слухи, и у неё была весьма сомнительная слава. Меня сразу предупредили, чтобы я ни за что не соглашался в неё идти. «Ты просто попадёшь на каторгу», — говорили мне.

Куда мне идти в этом случае, я не знал, но к мнению своих товарищей, конечно, прислушивался.

Стояла роскошная золотая осень, и там, в Антропшине, мы наслаждались осенними днями. Мне не хотелось думать ни о каких переменах.

Однако перемены грянули. В один из таких дней я увидел идущую к нам группу людей в рабочей одежде, с кровельным инструментом.

«Вот и бригада Лебедева», — сказал кто-то.

Шли они почему-то гуськом, один за другим, — сильные, крепкие мужики с обветренными, энергичными загорелыми лицами. Поравнявшись с нами, они весело, с шутками (как это принято на стройке) поздоровались и прошли мимо на объект.

Их стройный деловой ряд почему-то произвёл на меня, привыкшего на стройке ко многому, сильное впечатление.

Мы направились в свою бытовку. Там уже сидел сам Лебедев. Это был человек невысокого, может быть, даже маленького роста, но с очень широкими плечами, коренастый, очень крепкий, почти квадратный, уже седой, но с энергичным, волевым лицом и весёлыми глазами.

— Ну что, — сказал он, тоже со смехом, — надоело работать? Конечно, пить и гулять лучше, я согласен.

— Иван, Иван, — ответил кто-то из наших, — не суетись. Может быть, для начала перекинемся в картишки?

— Ладно, — сказал Лебедев на этот раз серьёзно. — Поезжайте в управление. Кто хочет остаться у меня в бригаде?

И вдруг, повернувшись ко мне, спросил, прямо у меня:

— Хочешь ко мне в бригаду?

— Нет, я пока подожду, — ответил я, помня о том, что мне говорили.

— Ну и зря, — сказал Лебедев. — У меня хорошие заработки. Ну, не хочешь — шак хочешь, — добавил он, повернулся, и вышел из бытовки.

Мы собрали шмотки и уехали с объекта.

Всю следующую ночь я ворочался в постели и не мог заснуть. Бригада Лебедева не шла у меня из головы. Я вспоминал то саму бригаду, прошедшую мимо меня гуськом, и их весёлые, волевые лица, то Лебедева, почему-то произведшего на меня необыкновенное впечатление, и наш с ним разговор. Мне стало казаться, что я встретился с чем-то очень важным для меня, чем-то способным изменить мою жизнь, повлиять на всю мою судьбу, — и почему-то прошёл мимо. И мне вдруг стало очень досадно на самого себя, но дело было сделано, назад пути, как мне казалось, не было.

В таком настроении я пришёл утром в управление к главному инженеру.

— Я тебе советую пойти работать к Лебедеву, — сказал мне главный без всяких предисловий. — По крайней мере, у него нормальные заработки. Ты поправишь все свои дела. Давай-ка я напишу тебе к нему направление.

Я торжествовал. Вдруг получилось, что я могу остаться у Лебедева несмотря на мой вчерашний отказ. Получалось, что меня направляют к нему по воле начальства.

К обеду я уже был опять в Антропшине.

— А чего же ты вчера отказался? — спросил Иван, лукаво ухмыляясь. — Вот видишь, от судьбы не уйдёшь. Ну ладно, переодевайся, пошли на работу.

Так я попал в бригаду Ивана Лебедева.

Иван Константинович Лебедев, или, как его все звали, Ванька — кавалер двух орденов Славы, наш «бугор» (это лагерное словцо прижилось на стройке и органично вошло в весёлый лексикон строительных бригад). В молодости Иван сидел в тюрьме за хранение оружия и, видимо, уже тогда был бригадиром. Он был человеком, у которого на лбу невидимыми чернилами было написано: «Победитель».

Такие люди в наше время, наверно, почти уже перевелись на Руси.

Именно таким я представляю себе маршала Жукова, или предводителя гуннов царя Аттилу, или Субэдея-багатура, непобедимого полководца хана Батгя.

Не было такого дела, которое Ванька не мог бы сделать блестяще. Нашей бригаде выпадало на стройке многое, не говоря уже о кровле, про которую всегда говорили, что у Ивана она исключительная.

Мы строили леса, клали плитку и мозаику, бетонную стяжку и асфальт и т.д. Когда мы появлялись на объекте, прораб сам уходил в тень, уступая место Ивану, который по какому-то неписаному соглашению брал всё руководство объектом на себя.

По одному оттенку пара битумного котла он, стоя на крыше, определял, готов ли битум, а по внешнему виду асфальта безошибочно мог сказать, какова температура внутри кучи.

Сказать про Ваньку, что это был ступок воли, было бы неточно. Нет, в нём ощущалась какая-то воля свыше, которой невозможно сопротивляться и которая всё приводит к успеху.

Но работать у него в бригаде было непросто. Я уже не говорю о том, что перекуров у нас не было. Перекуры Ванька считал делом вредным и ненужным. Но и сам темп работы был хоть и ритмичным и размеренным, однако таким, что даже в свои молодые годы я его выдерживал с трудом. Любая остановка в работе, не говоря уже об ошибках, влекла за собой матерный крик бригадира.

Я помню, как однажды мы работали на крыше одного из цехов Кировского завода. Мороз стоял градусов под тридцать. Солдаты, которые в то время работали с нами, развели на крыше маленькие костры и, переминаясь с ноги на ногу, грели озябшие руки.

Вдруг на горизонте появился Ванька. Он шёл по крыше в тельняшке, на которую сверху была накинута телогрейка. Шёл и безжалостно топтал солдатские костры.

— Дядя Ваня, холодно! — чуть не плакали солдаты.

— Холодно? Значит плохо работаете, — весело, но строго отвечал Иван, продолжая топтать костры.

Можно сказать, что эти слова были его девизом, и жаловаться ему на жизнь было делом бесполезным.

«Обокрали тебя? Правильно! Так и надо! Сам дурак, нечего пялиться по сторонам...»

«Баба от тебя ушла? Ну и что? Она что, последняя? Вон их сколько. Иди работай! Будешь работать — всё будет».

Однажды я видел, как Ванька разбил об угол дома авоську с водкой. У нас в бригаде были люди с уголовным прошлым, сидевшие в тюрьмах. За такое дело могли и убить. Я видел, как люди эти скрежетали зубами, но никто не смел поднять на него руку. Была в нём какая-то неодолимая сила и непререкаемый авторитет.

Когда же у нас бывали праздники и мы бросали работу, Иван пил со всеми вместе, но всегда говорил, что в отличие от нас он знает меру. Мерой его был ровно один литр водки, и Ванька любил хвастаться, что после литра не берёт в рот ни рюмки. Водка делала его добрым, весёлым и разговорчивым. Пьяным я никогда его не видел.

Иван заставлял нас работать без перерыва в одном и том же ритме — так, что работа наша походила на какой-то слаженный, ритмичный танец, и он не допускал в этом танце никаких сбоев.

Но он же следил за тем, чтобы у нас всегда были деньги.

Бригадир на стройке подобен капитану корабля в открытом океане.

Вокруг него враждебная стихия. Он должен ладить с коллективом и уметь добиваться от коллектива работы. Но он же должен (и это ещё важнее) выбивать деньги из начальства — и не только для себя, но и для своих людей. Далек не всякий, даже очень квалифицированный строитель

может быть бригадиром. Это требует особых способностей. Чаще всего, если хороший бригадир уходит или умирает, бригада его рассыпается. Заменить его очень трудно.

Ванька умел выбивать деньги из начальства, хоть это требовало даже от него немалых усилий.

Наша бухгалтерия с её бесчисленными бумагами, счетами и контрольными листами могла заморочить голову кому угодно, даже мне с моим университетским образованием, — но только не дяде Ване с его четырьмя классами церковноприходской, по его собственному выражению.

Если кто-нибудь из бригады жаловался, что ему недоплатили, Ванька шёл в бухгалтерию, и через десять минут в окошке появлялась бледная каскирша с недостающей суммой. Или, наоборот, Иван смотрел в контрольный листок — и, поняв что-то, объяснял, куда делась та или иная сумма из зарплаты, так что всё становилось понятно, и конфликт снимался.

«У меня в роду все были печники и плотники», — сказал он мне как-то, когда мы с ним ехали однажды на машине к нему на дачу.

И действительно, он один мог срубить дом так, что его в любом месте можно было проверять уровнем. Сруб был идеальным. Сад у него в Синявине более походил на сады в южной Белоруссии или на Украине, с какими-то одному ему известными сортами яблонь, которые не боялись мороза.

— Константиныч, что ты лезешь из кожи вон? Начальство же всё равно нас обманет. Что мы так стараемся? — спросил я его тогда.

— Не знаю, — ответил он. — Я не могу по-другому, такая у меня натура.

Халтуры, которые он находил по ходу основной работы, тоже требовали мощного труда, но всегда были выгодными и приносили нам хорошие деньги. В это время с одной зарплаты я мог пойти в Гостиный двор и полностью переодеться. Так я прежде никогда не жил.

И всё же работа у него была для меня почти несносной, и я едва её выдерживал.

Скажем, иногда я должен был топить большой битумный котёл, из которого битум насосом подавался на крышу. Я должен был удерживать в нём температуру на грани воспламенения. Это было очень опасно. Потушить горящий битум не так-то просто. Когда же я опускал температуру в котле на пару градусов до безопасного уровня, Ванька тут же орал мне с крыши, что битум холодный. Когда же битум в котле вспыхивал, он и не думал посылать ко мне с крыши кого-нибудь на помощь. Я должен был тушить котёл сам, после чего опять держать его на грани воспламенения. Это была нормальная работа по понятиям Ивана Константиновича.

В то время на стройке можно было радостно и весело жить, получая при этом вполне сносную зарплату. Я же по собственной воле устроил себе почти каторгу, связавшись с Ванькой, и почему-то не мог от него уйти. Несколько раз я уже был близок к этому — и каждый раз что-то меня удерживало.

Я ждал, что вот-вот что-то изменится в моей жизни, должен открыться какой-то путь к моему призванию — и тогда я со спокойной душой смогу

расстаться с Ванькой. Но путь всё не открывался, и я продолжал возделывать своё тяжёлое, непонятное мне поприще.

Однажды, это было в самом конце зимы, мы работали на одной из крыш завода «Знамя Октября». Февральские метели уступили место метелям мартовским, а на крыше все сезонные перемены погоды, даже самые слабые, заметны отчётливо и ясно. В нашей работе наступила какая-то пауза. И вот в мозгу у меня вдруг вспыхнули случайные слова из моего разговора накануне с одним из моих друзей. Слова эти закружились у меня в голове, возбудив какую-то энергию. Я пошёл вслед этой энергии, и у меня вдруг родилась стихотворная строфа, полная звучности и силы.

Птиц плоскогорья гонит в отроги  
Армия грека-тирана,  
Топчут в пустыне большие дороги  
Кони его каравана.

Я обмер. Неужели ко мне вернулся мой слог? Я не смел этому поверить. Вот уже четыре года я не мог написать ни строчки. Я, конечно, ни на один день не переставал об этом думать и верил, что жизнь предоставит мне какой-то путь обратно к литературному творчеству. Мне это виделось как возможность заняться, например, журналистикой, а потом, может быть, и опять начать писать стихи.

То, что стихи могут вернуться ко мне прямо здесь, на крыше, в кровельной бригаде, мне почему-то в голову не приходило.

Так вот она какая — «рука Господня». То, во что я верил несмотря ни на что, пришло ко мне в неожиданный момент с неожиданной стороны.

Невозможно описать то торжество, каким в этот момент преисполнилась моя душа.

И вдруг на другом конце крыши появилась коренастая фигура Ивана Константиновича Лебедева. Он шёл ко мне, как всегда, быстрыми широкими шагами.

«Ну вот, — подумал я, — сейчас начнёт орать. Такой торжественный момент испортит. Вот ведь принесла нелёгкая».

И тут произошло что-то, чему я не могу найти объяснение до сегодняшнего дня.

Когда Ванька ко мне подошёл, я увидел, что лицо его сияет от радости.

— Вот теперь, — сказал он, глядя на меня в упор сверкающими восторгом глазами, — мне нравится, как ты работаешь!

Он повертелся вокруг меня немного и такими же быстрыми решительными шагами ушёл.

Что это было за совпадение? Какие обстоятельства, о которых я не знаю, заставили его сказать мне такие слова именно в этот момент? Разумеется, ни Ванька, ни кто-либо иной на стройке ничего не знали и не должны были знать про стихи. Моя вторая жизнь, которая для меня была главной, являлась полным секретом для всех там, на протяжении всех

лет моей работы в строительном управлении. Впрочем, почти никогда никто и не задавался вопросом, что я с высшим образованием делаю в кровельной бригаде. А если кто иной раз и спрашивал об этом, то как-то вскользь и быстро потом забывал.

Слова Ивана явились результатом какого-то совпадения, но факт есть факт. Они были сказаны мне именно в этот момент.

«Неужели, — подумал я тогда, — бригадир Ванька Лебедев и есть тот ангел, которого Бог послал мне, чтобы вернуть меня к стихам?»

Так или иначе, в этот же день лопнула моя надежда уйти в скором времени от Ваньки. Мне стало ясно, что если я хочу писать стихи, я обречён не просто всю жизнь работать на стройке, но работать в бригаде Ивана Лебедева, что было почти равносильно добровольной каторге.

Это была плата за состоятельность в призвании, и меня такая плата устраивала.

Мысль о том, что я могу остаться «бесплодной смоковницей», внушала мне такую тоску, близкую к ужасу, рядом с которой работа у дяди Вани казалась лёгким крестом.

Так началась моя долгая жизнь на крышах этого города.

Я совсем иначе, чем прежде, увидел и сам город и природу вокруг себя. Увидел глубокие осенние туманы и щемящие душу первые огоньки города сквозь эти туманы в ранних октябрьских и ноябрьских сумерках, и красное январское солнце в тридцатиградусный мороз, и тихий снежок, ровным ковром лежащий на крышу, весеннюю свежесть природы в апреле и ленивую её негу во время июльского зноя... Я никогда не пропускал те дни, когда журавли и гуси осенью летели от Финского залива в сторону Купчина, а весной, наоборот, — от Купчина к заливу.

Сознание осмысленности моей жизни, с этого дня делало её радостной и красивой, несмотря на все трудности. Мой Бог был где-то рядом. И это вселяло в меня веселье, граничащее с восторгом.

Вскоре к первой строфе прибавилось ещё несколько, и это стало началом поэмы про Александра Македонского.

Грек-победитель усердно и смело  
 По берегам водотока  
 Гнал боевых жеребцов в Арбеллы —  
 Двери Второго Востока.  
 И, обратясь к азиатскому тылу,  
 Вытянул линию фронта,  
 Расположив авангардные силы  
 Вдоль полосы горизонта.  
 С первым лучом восходящего солнца  
 Город народным стеченьем  
 Встретил великую рать македонца  
 Храбрым своим ополченьем,  
 Но неприятелем, злым и упорным,

Хитрым искусником ратным  
 Был истреблён гарнизон непокорный  
 Конным кольцом троекратным.  
 Птиц плоскогорья гонит в отроги  
 Армия грека-тирана,  
 Топчут в пустыне большие дороги  
 Кони его каравана.

Сомнений не было. Ко мне вернулся мой красивый, строгий, чеканный слог. Только теперь в нём была ещё большая мощь, чем прежде в «Монголах».

Там, где горела земля полководца  
 Под жеребцом Буцефалом,  
 Царский кузнец подковал иноходца  
 Звонким элладским металлом.  
 Скинув убранство с алмазной звездой,  
 Шестеро слуг верхового  
 Перетянули суровой уздою  
 Шею коня боевого.

В нём воскресли грация, сила и ритм, соответствовавший ритму того танца, который каждый день вытанцовывала наша бригада.

Тяжёлое маховое колесо, которое, казалось, навсегда остановилось во мне, теперь опять крутилось. Только если прежде ход его был обусловлен вдохновением, то теперь оно крутилось сильно и ровно и не зависело более от моего настроения. Ход его был обусловлен не мной, я лишь должен был находить в себе силы, чтобы жить в соответствии с этим ходом.

Такая жизнь открыла предо мной ещё одни двери.

Во мне проснулись желание и способности к изучению иностранных языков. Я стал изучать английский — просто для того, чтобы чем-то занять вечерние часы. Я и прежде учил английский язык, как все, в школе и в университете — и конечно, без всякого желания и результата. И на этот раз я не рассчитывал на какой-либо успех и, разумеется, не думал о том, что мне суждено будет ездить за границу и что это пригодится мне прямым образом на практике. Я поступил на государственные курсы. Туда надо было просто ходить и выполнять домашние задания. Посещение этих курсов доставляло мне удовольствие, а задания я делал на работе, во время обеденных перерывов.

Таким образом, и с языком я вписался в ритм работы нашей бригады. И такое, как мне прежде казалось, скучное дело в этих обстоятельствах открылось для меня неожиданной радостью. После нескольких месяцев рутинного труда я стал получать от языка какую-то необыкновенную энергию другой культуры. Слова: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — вдруг для меня окрылись в буквальном смысле, так же как слова Христа: «Знамение верующим в меня — языцы

возглаголете многими». Я понял тогда, что каждый язык — действительно Божье порождение и вмещает в себя Бога. И каждый раз, когда ты изучаешь новый язык, сначала это требует от тебя труда, но затем он начинает сам отдавать тебе Божественную благодать.

На втором году обучения я без труда начал говорить на очень приличном английском — таком, на каком не стыдно было написать сочинение или сделать доклад.

За английским последовал французский, потом — испанский и итальянский.

Все эти языки, я, конечно, знаю в разной степени, но все четыре я довёл до того, что мог на них говорить.

Всё это происходило в условиях работы в бригаде. Так, например, французские тексты я учил, когда зимой в мороз топил котёл. Но, как ни странно, именно эти суровые условия открыли для меня языки. Я уверен, что в праздной, домашней обстановке не смог бы сделать и десятой доли того, что тогда, во время работы в бригаде дяди Вани, мне давалось без всякого труда. Вздумай я тогда выучить китайский язык или арабский, мне кажется, и это я сделал бы с успехом.

Однажды Ванька набросился на меня за то, что я опаздываю на занятия французским.

— Я не знаю, зачем тебе французский язык, — сказал мне тогда он, — мне, например, хватает русского мата, но если делаешь — делай как следует.

Языки эти на фоне моей веры и работы над стихами открыли мне новые границы жизни, связанные с другими культурами, и сделали меня «гражданином мира» задолго до того, как я в первый раз пересёк границу России, и конечно, повлияли на моё творчество.

Кроме того, всё это происходило в 1980-е годы, ещё при советской власти, и смысл противостояния внешне серой идеологизированной культуре продолжал оставаться для меня одним из основных двигателей.

Дядя Ваня проработал в управлении нашим бригадиром до конца перестройки. В 1990 году накануне приватизации начальство старалось избавляться от таких людей — как от возможных конкурентов в будущем. Дядю Ваню отправили на пенсию. Он торжественно отметил своё шестидесятилетие в бригаде: привёз из Синявина бутылку самогонки (как всё у него — исключительного качества), напоил всех и ушёл из управления. Говорят, что в дальнейшем он работал самостоятельно в Синявине — рубил избы и клал печи. Но в точности его дальнейшая судьба мне неизвестна. После его ухода я остался в бригаде и жил уже инерцией, заданной им, продолжая выдерживать себя в состоянии стихотворчества. Но это уже предмет для другой повести.

Писать стихи — это, на мой взгляд, нечто совершенно особенное, какое-то право говорить не своим языком и не от себя, существовать в другом пространстве — не в том, в каком пребываешь обычно.

Можно написать очень мудрую статью, или высказать на бумаге какие-то глубокие истины — результат долгих раздумий. Как правило, этому сопутствует вдохновение. Всё происходит очень складно, и все вокруг, конечно, поражены и восхищены.

Проходит лет семь — десять. Открываешь ты эту статью — и видишь, что всё там не так уж мудро, а то, что казалось когда-то необычным и глубоким, выглядит банальным или ложно многозначительным. И в пору эту статью переписывать заново.

Стихи — это нечто совсем иное. Они мне достаются огромным трудом. При этом содержание их я почти не контролирую и могу написать противоположное тому, что задумал вначале. Но если мне удалось услышать в себе этот неизвестно откуда идущий голос и достичь в строфе силы, убедительности и красоты, то я точно знаю, что они не исчезнут с годами. И через десять лет будут те же, что и сейчас, а возможно — и больше...

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

### Молитва

Апрель, блуд, колокольная высь,  
И кони пущены в рысь,  
Помолись за меня,  
Помолись за меня,  
Помолись,  
        помолись,  
                помолись...

Знаком тебе топот этих копыт,  
Знакома ль походка коня,  
Помолись за меня,  
Помолись за меня,  
Помолись,  
        помолись  
                за меня...

Мой первый грех — в том, что я рождён,  
И рождён, как все, во грехе.  
А второй — что холодный и крепкий меч  
Застыл у меня в руке.  
А третий — в том, что руки твои  
На шее моей свились,  
Помолись за меня,  
Помолись за меня,  
Помолись,  
        помолись,  
                помолись...

К утру запоют, закричат обо мне  
 Пустое седло и обрез,  
 Помолись... Да родится молитва в огне.  
 Да коснётся молитва небес.

1970

### Стихи из цикла «Шаман»

\* \* \*

Поднялись загнанные кони  
 Старотатарского аула,  
 И лёг на сбитые ладони  
 Витой арапник есаула,

Война в пределах мусульманства  
 Виной неверного тирана,  
 Его проклятого шаманства —  
 Гаданья на листах Корана.

Который день застывшим взором  
 Он смотрит в зеркало убитой,  
 Но чары этого узора  
 Сильней цыганки Сарагиты.

Нарушив древние границы  
 Её священного запрета,  
 Узор невиданный дымится  
 В кирпичной кладке минарета.

А губы шепчут: «Откровеньем —  
 Проклятым даром предсказания —  
 И мукой вечного прозренья  
 Ты мне ответишь за гаданье».

И, чуя близкую погоню  
 И ветер скорого разгула,  
 Поднялись загнанные кони  
 Старотатарского аула.

1975

\* \* \*

Спят в огнедышащей ночи  
 Иерусалимские мечи,  
 Где топчет землю конь игривый,  
 Месопотамец белогривый,

В чьих жилах дремлет грозный пыл  
 Никем не сёдланных кобыл.  
 Где их далёкое жилище,  
 Страны халдейской пепелище,  
 Куда теперь летит по ней  
 Табун невзнузданных коней?  
 Сквозь злое марево пустыни  
 Мы унесём своё добро:  
 Алмазы, жемчуг, серебро,  
 Осиротевшие святыни,  
 Врагами взятые в полон,  
 В великий город Вавилон.

1992

## БЫКИ ИСПАНИИ

**Красный бык (toro rojo) — труженик**

Его спина сверкает на рассвете  
 Алей, чем маки близ Гвадалахары,  
 Чем розы в старом парке в Альбасете,  
 Чем краснозёмы Сьерры-де-Гуара.

Как три тропы кровавые, зардели  
 (Там, где ремни вонзились в складки выи)  
 И загорелись на могучем теле  
 Его мозоли — язвы трудовые.

В траве благоухающей и сочной  
 По склонам Сьерры горною тропую  
 Пастух весёлый — отрок худосочный  
 Коровье стадо гонит к водопою.

Печален свет созвездий полуночных.  
 По гребню одинокого отрога  
 В долину пастбищ и садов цветочных  
 Сбегает их пустынная дорога.

**Белый бык (toro blanco) — жертва**

Там, где растут зелёные бананы  
 Подобно жёстким парашютным стропам,  
 Наполнились притоки Гвадианы  
 Тягучим мандариновым сиропом.

Пока в зарнице огненной с востока  
Его созвездье медленно скользило,  
Зерцало неподвижного потока  
Его большие ноздри отразило.

В последний раз его бока седые  
Оливковые ветви приласкали  
В том месте, где цыганки молодые  
Малиновые юбки полоскали.

Уже назавтра утренней порою,  
Чтоб в праздник ублажить толпу людскую,  
Как только солнце встанет над горою,  
Его сведут на бойню городскую.

### Чёрный бык (toro negro) — боец

А третий — грозный враг тореадора —  
Круглей, чем андалузская гитара,  
Загадочней арабского узора,  
Черней смолы в порту Гибралтара.

Ни тяжкого ярма работ крестьянских,  
Ни грубых рук цыгана-коновала,  
Ни крепких уз торговцев кастильянских  
Его спина доньне не знавала.

В его очах страдальческих сверкает  
Нездешних слёз таинственная влага,  
А в сердце красным маком созревает  
Бойца неукротимая отвага.

Среди страстей живого коридора  
Он отомстит за бычью обиду  
И на рога поднимет матадора  
В ближайшую воскресную корриду.

1996

### Пчёлы

Вспомним медового Спаса  
Богослужбный строй:  
Благословляются соты,  
Благословляется рой,  
Благословляется древний  
Трудолюбивый род —

Благословляются пчёлы,  
 Благословляется мёд.  
 Кто их жильё обустроит?  
 Разве что тот, кто их счёл...  
 Пасечник тихо откроет  
 Синие домики пчёл.  
 Кто мы, какого мы рода?  
 Жёлтое брюшко, усы...  
 Папортник, клевер, сморода —  
 Травы лесной полосы,  
 Запах левкоя пророчит  
 Нам медоносные дни...  
 Кто допоёт, добормочет  
 Песню пчелиной семьи?  
 Жаркие месяцы мчатся,  
 Срок подойдёт и, поверь,  
 Нам всё равно, как стучаться  
 В эту последнюю дверь.  
 Лето соцветья завяжет —  
 Встанет пчелиная рать,  
 Ну а потом нам подскажут,  
 Где и когда умирать.  
 Век наш короткий, но сочный  
 В светлом весёлом краю.  
 Солнечный Бог и цветочный  
 Нас ожидают в раю.  
 Вспомним медового Спаса  
 Богослужебный строй:  
 Благословляются соты,  
 Благословляется рой,  
 Благословляется древний  
 Трудолюбивый род —  
 Благословляются пчёлы,  
 Благословляется мёд.

2004

### Предвоенный город

Хозторг — торчит из-под прилавка  
 В бутылки налитый бензин,  
 Ломбард, кондитерская лавка,  
 Комиссионный магазин...

Кусками шёлка и батиста  
 Битком набитые мешки,  
 Старинных грамот золотисто-  
 Малиновые корешки.  
 Их сторожит учёный-книжник.  
 На перепутье постовой  
 Ногами тискает бульжник  
 Ещё горбатой мостовой.  
 Горят торговые витрины —  
 Грузинско-крымское вино.  
 На них глядят гардемарины  
 С рекламы цирка и кино.  
 В газетах модные кроссворды,  
 Еловых дров громадный воз,  
 И добрые кобыльи морды,  
 В рядах жующие овёс.

2007

## Бани

Помянем на пирушке братской  
 От Бога данный нам приют  
 «Фонарной» бани петроградской,  
 Где и напоят и нальют.  
 Её парильные уроки  
 Ты проштудируешь плечом,  
 Сквозь матовые стеклоблоки  
 Согретым солнечным лучом.  
 Пройдя по всем трахейным трубам,  
 Дух отлетит гнилой и злой,  
 Гонимый мятой, прелым дубом  
 И можжевеловой иглой.  
 И будь ты марлею стерильной  
 Иль наркоманом-алкашом,  
 Не будешь узнан ты в парильной,  
 Себя явивший нагишом.  
 Скамья скользит от мыльной влаги,  
 На ней стоит жестяный таз,  
 На коем выдавлено «Даги»  
 И ниже гордое «Кавказ».  
 И в час блошиного усердия  
 Вдруг обезумевшей толпы —

О, праздность! Мир, и милосердье,  
И вдохновенье — это ты!

2008

«Мы не пьём вина...»

*И. Бродский*

Мы не пьём вина,  
Не растим виноград.  
Мы в Господних садах не сажаем цветы  
И друг другу с любовью их имена  
Не читаем, когда переходим на «ты».

Мы не терпим трудов, не выносим борьбы,  
Ради истин давно не идём до конца,  
Ни в огне, ни в струе родниковой воды  
Мы не мочим ладони, не моем лица.

Вместо воинской славы бахвальство воров,  
И печать доброхотства на наших следах  
Не найдут ни в глуши петербургских дворов,  
Ни в песках аравийских, ни в арктических льдах.

Мы в страданиях любви не стяжаем венец,  
От внезапных измен задыхаясь в аду,  
И от жгучих терзаний разбитых сердец  
По ночам не рыдаем, не стонем в бреду.

Что сравнится с паденьем, подобным сему,  
Постижима ли нынче его глубина?  
Мы уже не нужны ни себе, никому,  
Мы покинули пир; мы не пьём вина!

2005

\*\*\*

Яркая звёздочка в небе забытого,  
Вдруг осветившая вехи минувшего —  
То ли судьба, то ли тень пережитого,  
Лёгкой рукой по перилам скользнувшего.  
Углем на стенке пустого строения,  
В чёрной пролетке отжившего здания  
Я обозначил её появление  
Знаком смирения, знаком молчания.

1995